

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Борис Васильев
А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...



Борис Львович Васильев
А зори здесь тихие... В
списках не значился (сборник)
Серия «Школьная библиотека
(Детская литература)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6982432

Васильев Б. Л. А зори здесь тихие... : повесть ; В списках не значился :

роман : Детская литература; Москва; 2014

ISBN 978-5-08-005188-3

Аннотация

В книгу вошли произведения о Великой Отечественной войне – повесть «А зори здесь тихие...» и роман «В списках не значился».

Для старшего школьного возраста.

Содержание

Краткие сведения об авторе и о его творчестве	5
Остаться человеком	9
А зори здесь тихие...	20
1	20
2	31
3	42
4	56
5	72
6	89
7	105
8	118
9	128
Конец ознакомительного фрагмента.	138

Борис Васильев
А зори здесь
тихие... В списках не
значился (сборник)

© Васильев Б. Л., наследники, 2004

© Воронов В., вступительная статья, 2004

© Пинкисевич П., наследники, иллюстрации, 1972

© Дурасов Л., иллюстрации, 1976

© Петров М., наследники, рисунок на переплете,
2004

© Оформление серии. Издательство «Детская
литература», 2004

Краткие сведения об авторе и о его творчестве



Васильев

Борис Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске. Родом он из дворян. Отец – кадровый офицер, служил в царской, Красной и Советской армиях.

Мировоззрение Бориса Васильева формировалось под влиянием семейных нравственно-философских традиций. Он с детства интересовался литературой и историей. Участь в воронежской школе, играл в любительских спектаклях, выпускал вместе со своим другом рукописный журнал.

Когда Борис Васильев окончил 9-й класс, началась Вели-

кая Отечественная война. Он ушел на фронт добровольцем в составе истребительного комсомольского полка. Участвовал в боях под Смоленском, выходил из окружения. Позже был контужен.

По выздоровлении в 1943 году его направили учиться в Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени И. В. Сталина (ныне имени Р. Я. Малиновского). После окончания инженерного факультета он работал испытателем колесных и гусеничных машин на Урале. В 1954 году демобилизовался в звании инженера-капитана. Решил заняться литературным трудом.

С середины 1950-х годов Борис Васильев писал пьесы и сценарии. Затем, уже достаточно зрелый мастер, он перешел к прозе. Первое прозаическое произведение, повесть «Иванов катер», о нелегком труде речников на лесосплаве, написана в 1967 году и опубликована в 1970-м.

В 1969 году вышла в свет повесть «А зори здесь тихие...». По этой повести в 1972 году режиссером С. И. Росточким был снят одноименный художественный фильм, удостоенный Государственной премии СССР. О войне, о судьбе своего поколения Борис Васильев рассказал также в романе «В списках не значился» (1974). Роман основан на документальных фактах. Главному герою романа, лейтенанту Плужникову, автор дал фамилию своего погибшего школьного друга. Названная выше тема продолжена в повести «Завтра была война» (1984), в рассказах «Вете-

ран» (1976), «Великолепная шестерка» (1980), «Неопалимая купина» (1986) и в других произведениях.

В 1982 году опубликована автобиографическая повесть «Летят мои кони». На страницах романа «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) говорится о борьбе добра и зла, о моральной силе добра, но не вселили его.

Роман-эпопея «Были и небыли» (1977–1980) определил новые темы творчества Бориса Васильева: история русской интеллигенции и история России, продолженные в последующих произведениях.

Новый этап творчества писателя: исторические романы «Вещий Олег» (1996) и «Князь Ярослав и его сыновья» (1997).

Борис Васильев – автор многочисленных публицистических статей. Их тематика – потеря обществом исторической памяти, господство исторического незнания, медленно, исподволь убивающего нацию. Писатель не устает говорить и о необходимости установления приоритета культуры, которую он определяет как «традиционную, выработанную тысячелетиями систему выживания данного народа».

Во второй половине 1980-х годов Борис Васильев активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Был депутатом I съезда народных депутатов СССР. Однако позже он оставил политику, считая, что писатель должен заниматься своим прямым делом.

Борис Васильев – лауреат Государственной премии СССР

(1975) и премии имени А. Д. Сахарова «За гражданское мужество» (1997).

Сейчас писатель живет и работает в Москве.

Остаться человеком

Тридцать пять лет прошло с того дня, когда в журнале «Юность» была напечатана повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Она изумила прежде всего нас, работавших тогда в редакции, своей пронзительной человеческой правдой о войне, о юных девчонках, которые погибли в болотистых лесах Карелии весной 1942 года, погибли без высоких слов, даже не поняв, что они приняли смерть героически, с молчаливым достоинством. Ни у одной из этих пяти девчонок даже не мелькнула мысль о том, нужно ли было жертвовать своей жизнью в этой лесной глухомани, в неравной схватке с опытными, здоровенными немецкими диверсантами, которых оказалось втрое больше, чем этих девочек, одетых в гимнастерки, юбки и грубые армейские сапоги. Ведь никто никогда не узнает, как они умирали в этой совершенно случайной военной схватке, белыми майскими ночами, когда солнце, едва-едва зайдя за горизонт, снова появлялось над лесами и сумасшедший писк миллионов комаров продолжал одолевать людей...

Говорят, на миру и смерть красна, когда на глазах твоих товарищей или просто незнакомых людей ты должна (или должен) принять то неизвестное и ужасное, что тебе суждено. Порой язык не поворачивается назвать такое поведение подвигом.

Что уж там было героического в тяжком – шаг за шагом – продвижении Лизы Бричкиной через болотные топи, полные ледяной воды?.. Случайно, совсем рядом, неожиданно вспучился болотный пузырь и громко лопнул, а девочка в испуге сделала один неверный шаг в сторону – и вязкая холодная жижа затянула ее в глубину. А Лиза, выросшая с отцом-лесником, вдали от городов, от радио, шумных веселых вечеринок, шутливых мальчишек, так мечтала о простой человеческой ласке, о сильных мужских руках... Борис Васильев не захотел описать, как билось в страхе и ужасе сердце Лизы, когда ее затягивало в бездонные топи – под птичий щебет, под лучами равнодушного северного солнца. Борис Васильев скуп на слова; в самые трагические последние минуты он пишет стиснув зубы, а мы читаем, чувствуя комок в горле...

И вот так умирать – в неизвестности, наедине с целым миром, который никогда о тебе не узнает, – наверно, не легче, чем на глазах товарищей подняться из окопа навстречу пулемету... Фронтовики вспоминают, что самая страшная смерть – нелепая (в старину слово «лепота» означало «красота»). И кто осудит выросшую в детдоме Галю Четвертак, когда она, не выдержав испытания страхом, с криком ужаса выбежала из укрытия под немецкие автоматные очереди...

В начале 70-х годов недавно прошедшего XX века так, как Борис Васильев, писали немногие. Уже были созданы сотни книг о грандиозных военных битвах – под Сталинградом,

на Курской дуге, о взятии Праги и Берлина; рассказывали о биографиях прославленных полководцев, о жизни известных героев, закрывших своей грудью амбразуру вражеского дзота... Заканчивалась первая четверть века после войны.

И тогда на всю страну прозвучал негромкий голос Бориса Васильева, заговоривший о безвестных девочках, погибших в карельских болотах. Можно вспомнить в связи с этой повестью Васильева еще рассказ В. Богомолова «Иван» (по нему Андрей Тарковский поставил великолепный фильм «Иваново детство»), повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики», повести Василя Быкова «Сотников» и «Дожить до рассвета».

Война предстала в тех произведениях в реальных человеческих трагедиях, в трудных судьбах совсем не знаменитых ее героев.

То было, конечно, в значительной мере новое слово о войне. И до сих пор не последнее слово. Хотя и появились в недавние годы великолепные романы Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», Георгия Владимова «Генерал и его армия» и другие хорошие книги. И все-таки большая правда о войне еще впереди. Григорий Бакланов, автор талантливой повести «Навеки – девятнадцатилетние», недавно в газетном интервью справедливо заметил, что более или менее исчерпывающая правда о войне еще не сказана: не опубликованы тысячи архивных, засекреченных документов, многочисленные мемуары участников войны.

Но литература, несмотря ни на что, продолжает свое святое дело: она идет в новые глубины времени, истории, человеческой души. Литература продолжает исследовать духовные взлеты и бездны падения людей. И наверно, самое главное в этом процессе – поворот литературы к человеческому измерению времени и истории. Писатели учатся считать миллионы людей с точностью до одного человека. Именно так завещал относиться к людям Федор Достоевский: считать миллионы людей – живых и мертвых – с точностью до единицы.

Борис Васильев – один из той небольшой плеяды писателей, которые сделали для себя главным именно такой творческий принцип. Несмотря на то что наше общество пока только на словах, декларативно, признает эти гуманистические ценности. Постепенно – к сожалению, позже других стран – Россия приходит к пониманию того, что жизнь каждого человека – это единственная в своем роде жизнь. И гибель каждого меняет духовное состояние человечества. Давно уже сказано, что под каждым могильным камнем похоронен целый мир. Ведь и сегодня, спустя почти шестьдесят лет после победы 1945 года, мы не потрудились – или духу не хватило – назвать тех, кто погиб, по именам, даже толком похоронить их не смогли. Их было миллионы. До сих пор они даже не сосчитаны, те мальчики и девочки; и это тоже наша беда и наша вина.

В «Зорях» у старшины Васкова однажды мелькнула

мысль: а нужно ли было жертвовать пятью этими девчонками ради того, чтобы немцы не прошли к Кировской железной дороге и не взорвали ее? Смертельно раненная Рита Осянина пытается его успокоить: «Все же понятно, война...» И тут Федот Васков, который поначалу показался девчатам «пеньком замшелым», полуграмотным солдафоном, вдруг не выдержал: «Пока война – понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли?.. Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал имени товарища Сталина?..»

Мощный нравственный заряд заложен в повести Васильева. Предавая земле тело Сони Гурвич, старшина Васков думает о том, сколь важен один, единичный человек для этого многоликого мира: «А главное, что могла нарожать Соня ребятешек, а те бы внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...»

Борис Васильев избегает ложной патетики, малейшей выспренности, потому что знает цену истинно достоверных слов, выразительной художественной детали. Он не хочет изображать своих девчонок такими твердокаменными, забронзовевшими героинями. Они живые, со всеми их страхами и озорством. Красавица Женя Комелькова, не убоявшаяся

яся под дулами затаившихся немецких автоматчиков разыграть веселое купание в ледяной воде, чтобы сбить с толку врагов, – веселая и бесстрашная. И тут следует типичная для Бориса Васильева выразительная деталь, данная, как говорят кинематографисты, крупным планом: Федот Васков тоже полез в эту смертную купель, чтобы выручить Комелькову. «Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть».

В романе «В списках не значился» писатель создает потрясающую сцену смерти юной девушки Мирры, испытавшей первую любовь с Николаем Плужниковым в смрадных казематах осажденной Брестской крепости. С детства Мирру называли калекой, хромоножкой (у нее протез одной ноги), она и не мечтала о любви, о мужской нежности, а тут почувствовала себя счастливой, попыталась спасти своего зачатого ребенка и... напоролась на штыки немецких солдат и наших охранников-предателей. Эти страницы в конце четвертой части романа трудно читать. В описании таких сцен очень заманчиво скатиться на душераздирающие интонации, но Борис Васильев по-прежнему строг и скуп на слова. И от этого его проза звучит еще более убедительно.

Васильев не очень-то склонен к бытовым, описательным сценам; наверно, поэтому первая половина романа «В списках не значился» в определенной мере уступает по эмоци-

ональной напряженности финальным главам (впрочем, это естественно в композиционном замысле романа). Борис Васильев предпочитает запредельные ситуации, когда бытовое начало высвечивается бытийным ощущением жизни, когда быт пронизан токами бытия, то есть более высокого смысла движущегося мира.

И тогда в повестях Бориса Васильева начинает возникать дыхание общечеловеческих, поистине вечных вопросов: что такое подлинная человечность и – пожалуй, самый трудный вопрос – как остаться человеком в немыслимых, жестоких обстоятельствах беспощадного, циничного мира. Ведь каждый из нас однажды рождается, подрастает, становится почти взрослым мальчиком или девочкой. Почему же одни проходят по жизни достойно, находя свое призвание, а другие – ломаются, соблазняются дешевыми страстями, корыстными желаниями, глушат свою совесть большими и малыми сделками в табачном дыму или наркотиках? Каждому при рождении дается душа, но как по-разному люди распоряжаются ею... Одни живут с чистой душой, у других душа треплется, продается, закладывается в дьявольских стремлениях, изнашивается. У Лермонтова в гениальном стихотворении «Ангел» показано, как небесный звук божественной песни в душе молодой «остался – без слов, но живой». Почему же так часто встречаешь людей, в душе которых этот божественный звук замирает, гложет, а нередко и умирает? И в совсем юные годы.

Зовется этот звук совестью. Если написать это слово через черточку (через дефис), то откроется смысл слова: со – весть, то есть тайное, глубоко личное со – вещание каждого человека с самим собой, со своими родителями, друзьями и всем миром. Может быть, никто никогда не узнает об этом тайном вашем разговоре со своей совестью, но он скажется в ваших поступках, в поведении.

Так никто не знал, что старшина Семишный несколько месяцев, до последнего дня своей жизни, прятал у себя на груди полковое знамя и, умирая, передал его Николаю Плужникову. И никто не приказывал старшине Степану Матвеевичу взорвать себя с двумя связками гранат, бросившись в шагающую колонну гитлеровских солдат. Трудно забыть и слепого политрука с перебитыми ногами; он спокойно ожидал немцев, держа в одной руке наган, а в другой – гранату...

Да, пожалуй, можно сказать, что если в повести «А зори здесь тихие...» писатель предлагает задуматься о ценности человеческой жизни, то в романе «В списках не значился» автор ищет ответы на вопросы не менее сложные: как сохранить в себе человека, как сберечь на трудных житейских перекрестках личное достоинство и честь?

Обостренная совесть отличает лучших героев Бориса Васильева; она позволяет писателю непреклонно судить трусов и малодушных, предателей и циников... Высота нравственного суда идет именно от важного, на первый взгляд трудноуловимого качества главного героя романа Николая Плуж-

никова – от его совестливости.

Однажды он сам себе устроил жесткий нравственный суд. На такой суд способны лишь редкие люди. Николай вспомнил, что он отпустил пленного немца, который умолял не расстреливать его, уверяя, что он не фашист, а простой рабочий человек. А на следующий день этот помилованный «рабочий человек» указал гитлеровцам дорогу в подземный каземат, где пряталась тетьа Христя, и оккупанты огнеметом превратили старую добрую женщину в пепел.

Николай вспомнил, как незнакомый пограничник прикрыл его от автоматной очереди и сам погиб... Как другой красноармеец, Сальников, практически спас Николая от неминуемого плена и смерти. Плужников вспомнил всех, кто помогал ему, спасал его, бросаясь вперед, не считаясь с опасностью. Выходило, что он действительно виноват перед сожженной тетей Христей, перед погибшими товарищами. «Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него».

В те дни ему стало совсем плохо и он готов был даже покончить с собой в подземном каземате. Несколько суток он лежал оцепеневший, не отвечая тогда еще живой Мирре. «Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили жировые площадки, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен». И

он в те дни осознал свой долг перед теми, кто погибал, чтобы он, Николай Плужников, остался жить. В разговоре с Миррой он утверждает, что «человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя». В таком состоянии он и встречает смерть. И даже гитлеровский генерал и немецкие офицеры, захватив наконец-то Плужникова, ослепшего, полуживого, поседевшего в свои двадцать лет, воздают ему, неизвестному русскому солдату, высшие воинские почести. Николай Плужников так и остался непобежденным.

В финальных сценах романа слово Бориса Васильева обретает трагическое дыхание, причем происходит это естественно, без нагнетания пафоса. Становится очевидно, что сдержанная проза Васильева – и повесть, и роман – перерастает в истинно трагическое повествование, действенность которого на эмоциональное и духовное состояние читателя увеличивается многократно. Не случайно, наверно, лучшие книги мировой литературы написаны в жанре трагедии. От эсхиловского «Царя Эдипа» до гётевского «Фауста», от «Дон Кихота» Сервантеса до шекспировского «Короля Лира», а в русском XX веке – от шолоховского «Тихого Дона» до булгаковского «Мастера и Маргариты» и пастернаковского «Доктора Живаго» – все эти произведения принадлежат к многообразным жанрам трагедии.

Еще со времен античных драматургов в жанре трагедии выработаны свои традиции, свой круг тем и конфликтов, ос-

новные среди них связаны с мучительным осознанием героя своего долга перед людьми, перед родной землей, перед своей совестью, наконец. И тогда человек поступает по велению долга. И тогда смерть не страшна, и человек уходит из жизни, смертью смерть поправ.

И уже не нужно называть лучшие современные книги о войне – военной прозой. Литература переходит к новым, общечеловеческим критериям оценки и анализа тех незабываемых событий. Николай Плужников в разговоре с Миррой говорит, что не надо слепо молиться на мертвые камни прошлого. «Надо просто помнить», – говорит Плужников, обращаясь не только к нынешним, но и к будущим поколениям.

А литература и есть память, в том числе память о том, как остаться человеком.

Владимир Воронов

А зори здесь тихие...



1

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два мет-

ра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге только-только приходил в себя блокадный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодых и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда хмурый старшина Васков писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов прилачился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилии.

– Чепушиной занимаетесь! – гремел прибывший по последним рапортам майор. – Писанину развели! Не комендант, а писатель какой-то!..

– Шлите непьющих, – упрямо твердил Васков: он побаивался всякого горластого начальника, но талдычил свое, как пономарь. – Непьющих, и это... Что, значит, насчет женско-

го пола.

– Евнухов, что ли?

– Вам виднее, – осторожно сказал старшина.

– Ладно, Васков!.. – распаляясь от собственной строгости, сказал майор. – Будут тебе непьющие. И насчёт женщин тоже будут, как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

– Так точно, – деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощанье еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые нос будут воротить от юбок и самогонки живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.

– Вопрос сложный, – пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. – Два отделения – это ж почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси – и то сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

– С командиром прибыли?

– Не похоже, Федот Евграфыч.

– Слава Богу! – Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. – Власть делить – это хуже нету.

– Погодите радоваться, – загадочно улыбнулась хозяйка.

– Радоваться после войны будем, – резонно сказал Федот Евграфыч, надел фуражку и вышел.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

– Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты Отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, – тусклым голосом отрапортовала старшая. – Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

– Та-ак, – совсем не по-уставному сказал комендант. – Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчики на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

– Из расположения без моего слова ни ногой, – объявил он, когда все было готово.

– Даже за ягодами? – бойко спросила рыжая: Васков давно уже заметил ее.

– Ягод еще нет, – сказал он.

– А щавель можно собирать? – поинтересовалась Кирья-

нова. – Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощам.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

– Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила тишь да благодать, но коменданту легче не стало. Зенитчики оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

– Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч, – сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. – Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите соответственно.

Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочнения собственных позиций; она таки растопила лед комендантского сердца и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчики азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

– Демаскирует.

– А есть приказ, – не задумываясь, сказала она.

– Какой приказ?

– Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись – хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка – это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом лугу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, вот это было совсем уж никуда не годно.



А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким сочным, таким тугим да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать ро-

дила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось красться задним ходом, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще до этого выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

– Вдовая она, – поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. – Так что полностью в женском звании состоит.

Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, – дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают, это все так. А внутри – беспорядок: «Люба, Вера, Катенька, – в караул! Катя – разводящая».

Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это – насмешка полная, это надо порушить, а – как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирыной, поговорить, да у нее один ответ:

– А у нас – разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

– Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полинка Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

– Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут.

– Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю – в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

– Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно.

– Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат, и с солдаток. Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо.

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим

смеху было, если б про медведя узнали! Это ж надо – не от газов в мировую, не от клинка в Гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже – медведь заломал! Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они – не гляди, что рядовые, – наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и все девять: по разговору видно. От девяти четыре отнять – пять останется. И выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого...

Странное дело: до этого он свою жизнь удачливой считал. Ну, не то чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу закончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других сторон, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь, да плясать, да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока

он там в снегах загибался, жена вконец завертелась и с полковым ветеринаром отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне за догадливость.

Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакгауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно. Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вздохнул старшина.

2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер: встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила его так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. лейтенант уехал на заставу, и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита несколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него – к ее родителям и все-таки добились своего. Рита была первой из класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика, Аликом назвали, Альбертом, а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не ударился в панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила сына к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу, и в стрельбе жила надежда, что

муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар: на заставе так любили петь – «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш, советский огород...». Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запикивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появилась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило не улыбочивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример, и поэтому уважило личную просьбу: направить после окончания школы на тот же участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»...

Теперь Рита была довольна: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти: у нее была работа, обязанности и вполне ре-

альные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, хоть и не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился; корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

– Стреляй, Рита!.. Стреляй!.. – кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку.

Очередь из четырех стволов начисто разрежала черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло, помкомзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

– Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто – зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости, болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

– Спать!.. – коротко бросала она, выслушав очередное признание. – Еще услышу о глупостях – настоишься на чагах вдоволь.

– Зря, Ритуха, – лениво пеняла Кирьянова. – Пусть себе болтают: занятно.

– Пусть влюбляются – слова не скажу. А так, лизаться по углам, – этого я не понимаю.

– Пример покажи, – улыбалась Кирьянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина – тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчелу досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили поднощицу – курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранило еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

– Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

– У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

– Один из штабных командиров – семейный, между прочим, – завел себе, так сказать, подругу. Член Военного со-

вета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту к делу определить. В хороший коллектив.

– Давайте, – сказала Рита.

Наутро увидела – и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза – детские: зеленые, круглые, как блюдца.

– Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день баннным был, и, когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели:

– Женька, ты русалка...

– Женька, у тебя кожа прозрачная...

– Женька, с тебя скульптуру лепить!..

– Женька, ты же без лифчиков ходить можешь!..

– Ой, Женька, тебя в музей нужно. Под стекло на черном бархате...

– Несчастливая баба, – вздохнула Кирьянова. – Такую фигуру в обмундирование паковать – это ж сдохнуть легче.

– Красивая, – осторожно поправила Рита. – Красивые редко счастливыми бывают.

– На себя намекаешь? – усмехнулась Кирьянова.

И Рита опять замолчала. Нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой – вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти – пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

– Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита – хоть и знала про полковника досконально – спросила:

– И у тебя – тоже?

– А я – одна теперь. Маму, сестру, братишку – всех из пулемета уложили.

– Обстрел был?

– Расстрел. Семьи комсостава захватили – и под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все!.. Сестренка последней упала: специально добивали...

– Послушай, Женька, а как же полковник?.. – шепотом спросила Рита. – Как же ты могла, Женька?..

– А вот – могла!.. – Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. – Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и – странное дело! – Рита словно бы оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но самой собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной, веселой и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на перерыве под девичье «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет – заслушаешься.

– На сцену бы тебя, Женька, – вздыхала Кирьянова. – Та-

кая баба пропадает!..

Так и кончилось Ритино так тщательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении у них замурышка одна была, Галка Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала – расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась. И поскольку Галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем – Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала; сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:

– Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась: стала за разъезд агитировать. Почему, отчего – никто не понимал, но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, стали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, остановила первый грузовик.

– Далеко собралась, красавица? – спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровож-

дали их люди, далекие от строевой и уставов.

– До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник:

– Подремли, деваха, часок...

А утром была на месте:

– Лида, Рая – в наряд!..

Никто не видал, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя:

– Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, отгадет...

И Васкову – ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита – меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе – двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии – особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшеничный концентрат, а иногда и банки с тушенкой. Шальная от удачи Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

– Зарвалась ты, мамочка. Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется – и сгоришь.

– Молчи, Женька, я – везучая!..

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно

поговоришь? Женька только расстраивалась:

– Ой, гляди, Ритка!..

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась: по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть – Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону:

– Пусть, Рита, пусть что хочет думает!..

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит – света не взвидишь. Пример был: двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа – с обеда до ужина – мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез, не то что за реку – со двора зареклись выходить.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные – от зари до зари – сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом: через две ночи на третью.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли

росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей само-волке. И от того, что следующее свидание она может плани-ровать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, раскладывая на континентах гигантский пасьянс из человеческих жизней, и судьбы людей переплета-лись причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта ти-хого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива Имперской службы СД за № С 219/702 с грифом «только для командования» уже подпи-сана и принята к исполнению.

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, охлаждал ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, что сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены, за кустами.

До пенька оставалось два поворота, потом напрямик, через ольшаник. Рита миновала первый – и замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; с левого плеча дулом вниз свисал шмайссер.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути. Из лесу вышел второй: чуть пониже, с автоматом на груди и точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными

башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом сквозь кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала: никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась.

Тишина.

Задыхаясь, кинулась напролом; сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

– Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге – в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками. Хлопал сонными глазами:

– Что?

– Немцы в лесу!..

– Так... – Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе, разыгрывают. – Откуда известно?

– Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...

– погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку второпях, как при пожаре.

– Что там, Федот Евграфыч? – испуганно спросила хозяйка.

– Ничего. Вас не касается.



Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги

за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воют.

– Команду – в ружье: боевая тревога. Кирьянову – ко мне. Бегом!..

Бросились в разные стороны: девушка – к пожарному сараю, а он – в будку железнодорожную, к телефону. Только бы связь была...

– «Сосна», «Сосна»!.. Ах ты, мать честная... Либо спят, либо поломка... «Сосна»! Так вас!.. Подействовало!..

– «Сосна» слушает.

– Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай. ЧП!..

– Даю, не ори. ЧП у него...

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

– Ты, Васков? Что там у вас?

– Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

– Кем обнаружены?

– Младшим сержантом Осяниной...

Кирьянова вошла; без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.

– Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесть...

– Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим – тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?

– Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка...

– Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот, всегда так, всегда Васков виноват.

Все на Васкове отыгрываются.

– Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

– Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.



– Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?

– Тут, товарищ...

– Дай ей трубку.

Кирьянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой:

- Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.
- Ты мне ту давай, которая видела.
- Осянина пойдет старшей.
- Ну, так. Стройте людей.
- Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки!.. Чеси с такими в лес, лови немцев с автоматами... А у них, между прочим, одни родимые, образца 1891 дробь тридцатого года...

- Вольно.
- Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

– Погодите, Осянина! Немцев идем ловить – не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли...

- Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

- Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?
- Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

- Что – я? Что такое я?.. Докладывать надо!
- Боец Гурвич.
- Ох-хо-хо!.. Как по-ихнему «руки вверх»?
- Хенде хох.

– Точно, – махнул-таки рукой старшина. – Ну, давай, Гурвич...

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

– Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм. Подзаправиться... Ну, поест, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все – сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина – со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала: две подушки рядышком... Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

– Значит, на этой дороге встретила?

– Вот тут, – палец Осяниной слегка колупнул карту. – А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

– К шоссе?.. А чего ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

– Просто по ночным делам, – не глядя, сказала Кирьянова.

– Ночным?.. – Васков разозлился: вот ведь врут! – Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

– Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, – опять сказала Кирьянова.

– Нету здесь женщин!.. – крикнул комендант и даже слег-

ка пристукнул ладонью по столу. – Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...

– То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля.

– К шоссе, говоришь, пошли?

– По направлению...

– Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло... Да вы хлебайте, хлебайте.

– Там кусты и туман, – сказала Осянина. – Мне казалось...

– Креститься надо, если кажется, – проворчал комендант. – Тючки, говоришь, у них были?

– Да. Вероятно, тяжелые. В правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, настолько ясно, что он даже застеснялся:

– Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

– До Кировской дороги не близко, – сказала Кирьянова недоверчиво.

– Зато – лесами. А леса здесь погибельные: армия спря-

таться может, не то что два человека.

– Если так... – заволновалась Осянина. – Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.

– Кирьянова сообщит, – сказал Васков. – Мой доклад – в двадцать тридцать ежедневно, позывной «17». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется...

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив:

– Разуться всем!..

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их младший сержант Осянина правильно обула. Однако почему подчиненных не учит?..

Тридцать минут преподавал, как портянки наматывать. А еще тридцать – винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Последние полчаса старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

– Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси Бог: в бегущего

из автомата попасть – одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

– Знаем, – сказала рыжая. – Одна – справа, другая – слева.

– Скрытно, – уточнил Федот Евграфыч. – Порядок в движении такой будет: впереди – головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах – основное ядро: я... – он оглядел свой отряд, – с переводчицей. В ста метрах за нами – последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или, там, по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры...

– Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

– Я умею, – робко сказала Гурвич. – По ослиному: и-а! И-а!..

– Ослы здесь не водятся, – с неудовольствием заметил старшина. – Ладно, давайте крякать учиться. Как утки.

Показал, а они – засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

– Так селезень утицу подзывает, – пояснил он. – Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи Бог влюбиться, хо-

роша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах – не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здоровая, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские – Галя да Соня Гурвич, переводчица.

– Идем на Воль-озеро. Смотрите сюда. (Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно.) Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать – к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам обходным порядком да таясь не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

– Понятно.

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять – вот это война...

– Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да захватить кое-чего требовалось. Немцы – вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но

передумал: орава-то что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться! Хозяйка глядела испуганно, тихо, глаза – на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил:

– Послезавтра вернусь. Либо – крайний срок – в среду.

Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел на околицу, оглядел свою гвардию: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Довел, стало быть, фашист Россию, если уж и девки за винтари ухватились. Оно, конечно, для парада там или раненых перевязывать – это так. А ну как в груди в эти – осколком иззубренным, тогда как?..

Вздохнул Васков:

– Готовы?

– Готовы, – сказала Рита.

– Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два крика – внимание, вижу противника. Три крика – все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

– Головной дозор, шагом марш!

Двинулись. Впереди – Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста,

пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да сидором гнулась, как тростинка...

За бросок к Вось-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход, по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряде, и миновать гряде эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались – немцам идти все равно дольше. Раньше чем к вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал прямехонько в обход топи. Все выхо-

дило так, как он замыслил.

– Хорошо немчура побегает, – сказал он своей напарнице. – Здорово очень даже побегает: верст за сорок.

Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась: аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

– Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

– Сиротствую?.. – Она улыбнулась. – Пожалуй, знаете, сиротствую.

– Сама, что ль, не уверена?

– А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

– Резон...

– В Минске мои родители. – Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку. – Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

– Известия имеешь?

– Ну что вы...

– Да... – Федот Евграфыч еще покосился: прикинул, не обидит ли. – Родители – еврейской нации?

– Естественно.

– Естественно... – Комендант сердито посопел. – Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве ко-

ржавыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

– Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать девять накатов с переборами, глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать:

– А ну, боец Гурвич, крикни три раза!

– Зачем это?

– Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?

Сразу заулыбалась. И глазки живыми стали.

– Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись.

А Осянина просто бегом примчалась – винтовка в руке:

– Что случилось?

– Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали, – выговорил ей комендант. – Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась – аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

– Устали?

– Еще чего! – рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

– Вот и хорошо, – миролюбиво сказал Федот Евграфыч. – Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.

– Вроде ничего... – Рита замялась. – Ветка на повороте сломана была.

– Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова.

– Ничего не заметила, все в порядке.

– С кустов роса сбита, – торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. – Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

– Вот глаз! – довольно сказал старшина. – Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться...

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это – команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился:

– Не реготать! И не разбегаться. Все!..

Показал, куда вещмешки сложить, куда – скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

– Сейчас внимательнее надо быть, – сказал комендант. – Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но – след в след. Тут сле-

ва-справа – трясины: маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и, прежде чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть попробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз. Рыжая только головой дернула, но задержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок.

– Ну, у кого силы много?

– А чего? – неуверенно спросила Лиза Бричкина.

– Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

– Зачем?.. – пискнула Гурвич.

– А затем, что не спрашивают!.. Комелькова!

– Я.

– Взять мешок у красноармейца Четвертак.

– Давай, Четвертак, заодно и винтовочку...

– Разговорчики! Делать, что велят: личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щebetать. А щebet военному человеку – штык в печенку. Это уж так точно...

– Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь...

– Можно вопрос?

Господи твоя воля! Утерпеть не могут.

– Что вам, боец Комелькова?

– Что такое – слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.

– Что у вас в руках?

– Дубина какая-то...

– Вот она и есть слега. Ясно говорю?

– Теперь прояснилось. Даль.

– Какая еще даль?

– Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника.

– Евгения, перестань! – крикнула Осянина.

– Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я – головной, за мной – Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина – замыкающая. Вопросы?

– Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно, при ее росте и ведро – бочажок.

– Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.



Шагнул с ходу по колени – только трясина чавкнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд. Сырой стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими

водорослями, болотом. Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей, холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, принаравливаясь к Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

– Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

– Не стоять! Не стоять! Засосет...

– Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка: и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясины: сапог, что ли, нащупывают?

– Нашла?

– Нет!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:

– Куда?! Стоять!..

– Я помочь...

– Стоять!.. Нет назад пути!..

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в

трясине – смерть.

– Спокойно, спокойно только! До островка пустык остался, там передохнем. Нашли сапог?

– Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!

– Идти надо! Тут зыбко, долго не простои́м.

– А сапог как же?

– Да разве найдешь его теперь? Вперед!.. Вперед, за мной!.. – повернулся, пошел не оглядываясь. – След в след. Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добре́ли наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгну эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но – обошлось.

У островка, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

– Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

– Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:

– Умаялись...

– Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы добредем – и шабаш.

– Нам бы помыться, – сказала Рита.

– На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну а сушиться, конечно, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, спросила несмело:

– А мне как же без сапога?

– А тебе чуню сообразим, – улыбнулся Федот Евграфыч. – Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?

– Потерплю.

– Растрепа ты, Галка! – сердито сказала Комелькова. – Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь.

– Я загибалась, а он все равно слез...

– Холодно, девочки.

– Я мокрая до самых-самых...

– Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду!..

Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а – молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода – лед...

Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:

– А ну, разбирай следи, товарищи бойцы. И – за мной, прежним порядком. Мыться-греться там будем, на бережку.

И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был – не приведи Господь. Жижа, что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихаешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет.

– Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

– Пиявки тут есть? – задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному: ей полегче было.

– Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

– Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его... – Подумал маленько, добавил: – Старики бают, что акkurat в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его гвардия. Пыхтит, ойкает, задыхается. Но – лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся: в затылок шли. К березе почти разом выбрались. Дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что и почва все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой бело-мошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и слегги побросали. Однако Федот Евграфыч слегги велел поднять и

все к одной приметной сосне прислонить.

– Может, кому сгодится.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел:

– Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок – сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

– Ура!.. – закричала рыжая Женька. – Пляж, девочки!

Девушки заорали что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая скатки, вещмешки...

– Отставить!.. – гаркнул комендант. – Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

– Песок! – сердито продолжал старшина. – А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки – в одно место. На мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

– Есть, товарищ старшина!

– Ну, все. Через сорок минут чтоб все были готовы. Одежды, обуты и – чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко – чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся.

Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только

смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался. Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье выстирал, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул – вздохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоился гвардию свою напугать: покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло – и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал. А там гомонили, как на побеседушках: все враз и каждый свое. Только смеялись дружно да Четвертак радостно выкрикивала:

– Ой, Женечка! Ай, Женечка!..

– Только вперед!.. – заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула за кустами вода.

«Ишь ты, купаются...» – уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом. Хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:

– Евгения, на берег!.. Сейчас же!..

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катушкой» по кремню, прикурил от затлевающего фитилька и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но

ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

– Готовы, товарищи бойцы?

– Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтоб шугануть их, как Осянина опять прокричала:

– Идите! Можно!..

Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и гвардия ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом.

– Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

– Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

– Молодец, Комелькова. Не замерзла?

– Так ведь все равно погреть некому...

– Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудили: запасной портянкой обмотали, сверху – два шерстяных

носка (хозяйки его рукоделие и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом:

– Ладно ли?

– Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

– Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались – покраснелись только.

– А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться – и снова:

– За мной!.. Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Вось-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт – не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок – ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичало словно все: и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры – все ушли на фронт.

– Тихо-то как... – шепотом сказала звонкая Евгения. – Как во сне.

– От левой косы Синюхина гряда начинается, – пояснил

Федот Евграфыч. – С другой стороны эту гряду второе озеро поджигает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

– Безмолвия здесь хватает, – вздохнула Гурвич.

– Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду.

А там известно что: бараньи лбы да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем – и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика – по миру пошла бы семья. Тем более, голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался – и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал уже к двадцати годам. Ну, потом армия, тоже – не детский сад. В армии солидность уважают. А он – армию уважал. Так и получилось, что на данном этапе он опять не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина – старшина и есть: он всегда для бойцов старый. Положено так. И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было: в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником Гражданской войны и лично пил чай с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходили. И только ночью этой, тихой

да светлой, шевельнулось что-то сомнительное...

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно, и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное – отличную он позицию выискал. Глубокую, с укывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три гряди огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась: он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.

– Замечу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?

– Ясно, – упавшим голосом сказала Лиза.

– Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтоб тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал; но дыма не было, только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло. Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался наполоам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

– Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

– Я наворачиваю, – улыбнулась она.

– Вижу! Худющая, как весенний грач.

– У меня конституция такая.

– Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а – в теле. Есть на что приятно поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирав, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

– Слушай боевой приказ! – торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа. – Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вось-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева – Вось-озеро, сосед справа – Легонтово озеро... – Старшина помолчал, откашлялся, расстроено подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: – Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своим заместителем назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

– А почему это меня в запасные? – обиженно спросила

Четвертак.

– Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

– Ты, Галка, наш резерв, – сказала Осянина.

– Вопросов нет, все ясно, – бодро отозвалась Комелькова.

– А ясно, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши.

– Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

– По-немецки? – съехидничала Гурвич.

– По-русски! – резко сказал старшина. – А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все молчали.

– Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

– С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь» не скамантую. А то не погляжу, что женский род... – Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой. – Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил попарно – чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уж совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообщить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел: шустрюю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто ворую их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уже не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, и он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

– Немцы?

– Где?.. – испуганно откликнулась она.

– Фу, леший... Показалось.

Рита длинно посмотрела на него, улыбнулась:

– Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

– Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз – под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила – спины не видно. Стала гребенку вести – руки не хватает: перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

– Крашенные, поди? – спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот – простое.

– Свои. Растрепанная я?

– Это ничего.

– Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

– Ладно, ладно. Оправляйся...

О леший, опять это слово выскочило! Потому ведь – из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

– Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка – гаубица.

– Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

– А где ваша жена?

– Известно где – дома.

– А дети есть?

– Дети?.. – вздохнул Федот Евграфыч. – Был мальчонка.

Помер. Аккурат перед войной.

– Умер?..

Отбросила назад волосы, глянула – прямо в душу глянула.

Прямо в душу. И – ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Васков и не удержался, вздохнул:

– Да, не уберегла маманя.

Сказал – и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру:

– Как там у тебя, Осянина?

– Никого, товарищ старшина.

И пошел от бойца к бойцу. Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти.

Рожденные в года глухие

Пути не помнят своего.

Мы – дети страшных лет России —

Забывать не в силах ничего.

Испепеляющие годы!

Безумья ль в вас, надежды ль весть?

От дней войны, от дней свободы —

Кровавый отсвет в лицах есть...

– Кому читаешь-то? – спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой:

– Кому, спрашиваю, читаешь?

– Никому. Себе.

– А чего ж – в голос?

– Так ведь – стихи.

– А-а... – Васков не понял. Взял книжку – тонюсенькая, что наставление по гранатомету, – полистал. – Глаза портишь.

– Светло, товарищ старшина.

– Да я вообще... И вот что, ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинелку подстилай.

– Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

– А в голос все-таки не читай. В вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

– Откуда будешь, Бричкина?

– С Брянщины, товарищ старшина.

– В колхозе работала?

– Работала. А больше – отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

– То-то крикаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

– Ничего не заметила?

– Пока тихо.

– Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

– Понимаю.

– Вот-вот...

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

– «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож?», – с ходу казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил:

– Это припевка в наших краях такая.

– А у нас...

– После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

– Честное слово? – улыбнулась Лиза.

– Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

– Ну, смотрите, товарищ старшина! Обещались!..

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и спрятав руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

– Ты чего скукожилась, товарищ боец?

– Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать ее пришел, что ли...

– Да не рвись ты, Господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее сжал, прислушался: горит.

Горит, лешак тебя задави совсем!

– Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Васков. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособно-

го – обузу на весь отряд и лично на твою совесть. Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его НЗ лежал – фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку:

– Так примешь или разбавить?

– А что это?

– Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась:

– Ой, что вы, что вы...

– Приказываю принять! – Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. – Пей. И воды сразу.

– Нет, что вы...

– Пей, без разговору!..

– Ну, что вы, в самом деле! У меня мама – медицинский работник...

– Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давась, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась.

– Голова у меня... побежала!..

– Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:

– Отдыхай, товарищ боец.

– А вы как же без шинели-то?

– Я здоровый, не бойсь. Выздоровей только к завтраму.

Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый – все на покой, отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

– Может, зря сидим?

– Может, и зря, – вздохнул старшина. – Однако не думаю.

Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли какое-либо иное задание иметь, а вовсе не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместе того чтобы лес чесать да немцев прищучить, черт те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание...

– Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке раз-

бужу...

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке...

– Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

– А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?

– Как спят?..

– Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда – единственный удобный подход к железной дороге. А до нее им...

– Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А? Так мыслю?..

– Так, товарищ старшина.

– А так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?

Рита улыбнулась. И опять посмотрела – длинно, как бабы на ребяtnю смотрят.

– Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

– Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита... как по батюшке?

– Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

– Закурим, товарищ Рита?

– Я не курю.

– Да, насчет того, что и они – тоже люди, это я как-то недо-

понял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

– Я не хочу спать.

– Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось.

– Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч, – улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари и – заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул.

– Что?..

– Тише! Слышишь?

Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

– Птицы кричат...

– Сороки, – тихо смеется Федот Евграфыч. – Сороки-белобоки шебуршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе – гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но – скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала. Старшина залег на свое место – впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке. Сороки кружили над кустами, громко трещали,

перещелкивались. Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему подобралась:

– Здравствуйте, товарищ старшина.

– Здорово. Как там Четвертак эта?

– Спит. Будить не стали.

– Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высывайся.

– Не высунусь, – сказала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряды, через которую лежал их путь и где укрылся сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез вновь выходит первобытный смысл существования – уцелеть, – минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

– Ну, идите же, идите, идите... – беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно вы-

скользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким кошачьим шагом они двинулись к озеру... Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку.

– Три... пять... восемь... десять... – шепотом считала Гурвич. – Двенадцать... четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина...

Замерли кусты. С далеким криком отлетели сороки. Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

6

Всю жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и – с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Вось-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

– Шестнадцать, товарищ старшина, – почти беззвучно повторила Гурвич.

– Вижу, – сказал он, не оборачиваясь. – Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты? Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспи-

танное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были далеко и ничего еще не могли слышать, Федот Евграфыч переживал сейчас самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас или хоть «дегтярь» с полным диском и толковым вторым номером. Даже бы не «дегтярь» – автомат бы тройку да к ним мужиков поспоростей... Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое майское утро...

– Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие растопыренные донельзя глаза, подмигнул:

– Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их, поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

– Дорогу назад хорошо помнишь?

– Ага, товарищ старшина.

– Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его,

опушкой держи вдоль озера.

– Там, где вы хворост рубили?

– Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик – там не собьешься.

– Да знаю я, товарищ...

– Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело – болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо – трясина. Ориентир – береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.

– Ага.

– Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пень, с которого я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.

– Ага.

– Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

– Ага.

– Винтовку, мешок, скатку – все оставь. Налегке дуй.

– Значит, мне сейчас идти?

– Слегу перед болотом не позабудь.

– Ага. Побежала я.

– Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осто-

рожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уже близко – можно разглядеть лица, – а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.

Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.

– Товарищ старшина!..

Бросились как воробьи на коноплю. Даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:

– Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядом перед ним устроились, молча сле-

дили, как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

– Ну, как ты?

– Ничего. – Улыбка у нее не получилась: губы не слушались. – Я спала хорошо.

– Стало быть, шестнадцать их. – Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал. – Шестнадцать автоматов – это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

– Бричкину я в расположение послал, – сказал он погоды. – На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них – шестнадцать автоматов.

– Что же, смотреть, как они мимо пройдут? – тихо спросила Осянина.

– Нельзя их тут пропустить через гряду, – сказал Федот Евграфыч. – Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход, вокруг Легонтова озера направить. А – как? Просто боем – не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его рас-

терянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют – и все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало – сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка – мечта, а не бритва, – но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались – это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их об-

наружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их – вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место – вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы...

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну задержатся, ну разведку вышлют, ну изучают их, пока не поймут, что в заслоне этом – ровно пятеро. А потом?.. Потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей, снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтобы от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться...

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил – Осяниной, Комельковой и Гурвич, – Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

– Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что – готовьтесь-то? На тот свет разве, так для этого времени – чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Запалы в гранаты вставил (две штуки всего, две лимоночки), наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка. У девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. По-

том к нему подошли:

– Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и – сообразил комендант. Собразил: часть – какая б ни была – границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы – в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь – и все: засекут, сообщат куда надо. Потому никогда не известно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь.

– Ну, девчата, орлы вы у меня!..

Позади запасной позиции речушка протекала – мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес – непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подыме, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высовываться: ну, мелькать там, показываться, но – не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни – все, что форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костер палить. А тот, левый фланг на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если бы немцы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь уже (пусть слышат, пусть готовы будут!), подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

– Идут, товарищ старшина!..

– По местам, – сказал Федот Евграфыч. – По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак еще на том берегу копошились: Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ей прикручивали. Старши-

на подошел:

– Погоди, перенесу.

– Ну что вы, товарищ...

– Погоди, сказал. Вода – лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк. пуда три, не более). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась – аж до шеи.

– Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней – ведь не чурбак нес все-таки, – а сказал совсем другое:

– По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доходила – холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрал. Мелькала худыми ляжками, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:

– Ну и водичка... Бр-р!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Комендант крикнул сердито:

– Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

– Не из устава команда, Федот Евграфыч.

Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

– Давай, девки, нажимай веселей!..

Издалека Осянина отозвалась:

– Эге-гей!.. Иван Иваныч, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой свалили, уже и солнце над лесом встало и речку высветило, а кусты той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

– Может, ушли? – шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя... Это он подумал так. А сказал коротко:

– Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью – и вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

– Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу: без ранцев, налегке. Выставив шмайссеры, обшаривали глазами голосистый противоположный берег. Екнуло сердце Васко-

ва: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чашу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут по нему тогда, из всех оставшихся четырнадцати шмайссеров шарахнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать.

Он оглянулся: стоя сзади на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

– Стой!.. – шепнул старшина.

– Рая, Вера, идите купаться!.. – звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем берег.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая – в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит она в эту тугую грудь, и переломится Женька, всплеснет руками, и...

Молчали кусты.

– Девчата, айда купаться!.. – звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. – Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся в глубь, в чащобу. Схватил топор, отбежав, яростно рубанул сосну.

– Эге-гей, иду!.. – заорал он и снова ударил по стволу. – Идем сейчас, погоди!.. Ого-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал, и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник – чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла – боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип,

впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила под рубашкой мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

– Ты где тут?

Хотел весело крикнуть – не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место – сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:

– Из района звонили – сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Проорал для той стороны, а что Комелькова ответила – не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что – казалось ему – шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть

и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось. Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

– Уходи отсюда, Комелькова, – изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она еще что-то говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, вывести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все это, что морочат их головы немецкие, надо было что-то придумать.

– Добром не хочешь – народу тебя покажу! – заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку. – А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился.

– Одевайся. И хватит с огнем играть. Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся – а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что

юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.

– Ну, все теперь!.. – говорил Федот Евграфыч в перерывах между их веселиями. – Все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

– Прибежит, – сипло сказала Осянина, и опять все принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. – Она – быстрая.

– Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело, – сказал комендант и достал заветную фляжку. – Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное – позади...

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал – отодвигал.

– Помрет у нас мать-то, – строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу, кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и – опять кормила. И – ждала завтрашнего дня.

Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и осязаемым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока об-

ходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом – свидания с подружками, потом – редких свободных вечеров на пяточке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

– Пожить у нас хочет, – сказал он дочери. – А только где же у нас? У нас мать помирает.

– Сеновал найдется, наверно.

– Холодно еще, – несмело сказала Лиза.

– Тулуп дадите?..

Отец с гостем долго пили водку на кухне. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала. Говорил больше отец. Стаканамии вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил:

– Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить. Так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

– Чистить надо, – подтвердил гость. – Не прореживать, а чистить. Дурную траву – с поля вон.

– Так, – сказал отец. – Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели – теплое, бегаёт да пишшит?

– Волк, например...

– Волк?.. – взъерошился отец. – Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

– А потому, что у него зубы, – улыбнулся охотник.

– А он что, виноват, что волком родился? Виноват?.. Нет, мил человек, это мы его обвиноватили. Сами обвиноватили, а его не спросили. По совести это?

– Ну, знаешь, Петрович, волки и совесть – понятия несовместимые.

– Несовместимые?.. Ну а волк и заяц – совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать

волков врагами населения. Ладно. Взались мы за это всенародно и всенародно же перестреляем всех волков во всей России. Всех!.. Что будет?

– Как что будет? – улыбнулся гость. – Дичи много будет...

– Мало!.. – рявкнул вдруг отец и с маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. – Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно. Только – зачем? Для спокойствия. Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху?

– А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? – вдруг тихо спросил гость.

– Чего меня кулачить? – вздохнул лесник. – Прибытку у меня – два кулака да жена с дочкой. Не выгодно им меня кулачить.

– Им?..

– Ну, нам!.. – Отец плеснул в стаканы, чокнулся. – Я не волк, мил человек, я заяц.

Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился:

– Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белоzubым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматри-

вая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

– Неосторожный у вас отец.

– Он красный партизан, – торопливо сказала она.

– Это мы знаем, – улыбнулся гость и встал. – Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребке. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку:

– Пойдите здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ошупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову; просто хотелось, чтоб вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы – и исчезло. Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале.

– Я знаю, – сказал он и затоптал окуроч. – Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца. Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся поздним вечером голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

– Что это вы ничего с охоты не приносите? – сказала она, набравшись храбрости.

– Не везет, – улыбнулся он.

– Исхудали только, – не глядя, продолжала она. – Разве ж это отдых?

– Это прекрасный отдых, Лиза, – вздохнул гость. – К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

– Завтра?.. – упавшим голосом переспросила Лиза.

– Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

– Смешно, – печально сказала она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

– Кто? – тихо спросил он.

– Я, – сказала Лиза. – Может, постель поправить...

– Не надо, – перебил он. – Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

– Что, скучно?

– Скучно, – еле слышно сказала она.

– Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и – сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и – в этом она себе не признавалась – может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас, как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

– Иди спать, – сказал он. – Я устал, мне рано ехать.

И – зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала,

прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

– А он – птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своем уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги:

– Держи.

Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием.

Подпись и адрес. И больше ничего, даже привет.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города она попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она

оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед квартирной хозяйкой, Лиза вдруг вспыхнула:

– Неправда это!..

– Влюбилась! – торжествующе ахнула Кирьянова. – Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!

– Бедная Лиза! – громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина:

– Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина – от службы, и никогда бы им глазами-то не столкнулись, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, – сказал старшина. – Вот выполним боевое задание и споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о сляках, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла

на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всклипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила – слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и, каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже, чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной

крышей со старшиной...

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед нею. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копошившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага, но эти полшага уже невозможно было сделать.

– Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет – теплый,

нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился, и – как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел не только боевой, а еще и охотничий – и понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумает, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится: медведь за тобой или ты за медведем. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

– Держи за мной, Маргарита. Я стал – ты стала, я лег – ты легла. С немцем в хованки играть – почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался, ухом к земле приникал, воздух нюхал – весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил – и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура-сорочка, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за

двоих.

Так прошли они гряды, выбрались на основную позицию, а потом – в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо, мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался отступя от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

– Чуешь? – тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя. – Подвела немца культура: кофею захотел.

– Почему так думаете?

– Дымком тянет – значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень – ту же некуда, присел:

– Посчитать их придется, Маргарита, не отбился ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется – уходи немедленно, в ту же секунду уходи. Забирай девчат, и топайте прямо-

ком на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому что Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

– Нет, – сказала Рита. – А вы?

– Ты это, Осянина, брось, – строго сказал старшина. – Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита промолчала.

– Что отвечать должна, Осянина?

– Ясен – должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки уже промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Она, конечно, ощущала и страх, и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но, как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно, чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах:

– Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец. Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась.

– Почему?

– Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было – лежать.

– Мокро там очень, Федот Евграфыч.

– Мокро... – недовольно повторил старшина. – Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

– Значит, угадали...

– Я не ворожея, Осянина. Десять человек пищу принимают – видал их. Двое – в секрете: тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням ползаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно – сюда. И чтоб смеху – ни-ни!

– Я понимаю.

– Да, там я махорку свою сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.

– Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние каменья на животе излазал. Высмотрел, выслушал,

вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. И к вечеру – ну, самое позднее к рассвету! – подойдут отряды, он поставит их на след и... и отведет своих девчат за скалы. Подальше, чтобы мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издаля определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а – поди ж ты! – комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рошицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:

– Забыла! Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской – чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад, за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать:

– Ну ничего, ладно уж. Махорка имеется... Сидор-то мой не забыли, случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок, и на нем вышито было: «*Дорогому защитнику Родины*». И не успел он расстройству своего скрыть, как Гурвич назад бросилась:

– Я принесу! Я знаю, где лежит!..

– Куда, боец Гурвич?.. Товарищ переводчик!..

Какое там – только сапоги затопали...

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат – это любой кадровик знает. Но Сониная семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть.

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка:

Доктор медицины

Соломон Аронович Гурвич.

И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел

пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и маляриях, и бабушка поила его вишневой наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги – на два номера больше.

В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительской и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц – нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после

того боя с «мессерами». И наверно, поэтому голос ее услышал один старшина:

– Вроде Гурвич крикнула?

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.

– Нет, – сказала Рита. – Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменя лицом. Станный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

– Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она – с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего и не оставалось.

А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уж никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил – рядом со следом.

Разлапистый след был, с рубчиками.

– Немцы?.. – жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, приноживался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и – задохнулась.

– Неаккуратно, – тихо сказал старшина и повторил: – Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб под мышки подхватить, оттащил и положил на спину. Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно растянул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно трясась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна

в грудь шла, в левую грудь. Вторая пониже – в сердце.

– Вот ты почему крикнула, – вздохнул старшина. – Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза: грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул – все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть – не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся.

– Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

– Некогда трястись, Комелькова...

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной яркой болью рванулось вдруг сердце... Нет, успела. И понять успела, и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотился, а они на него? Может, высмотрели всё, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх – ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости, и только одного желал: догнать. Догнать, а там – разберемся...

– Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнил себя и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с кото-

рым вчера еще котелок напополам делил. И кричала в нем эта маета, и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог – погоней. И думать ни о чем не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было, будто спешили они не в бой, а на казнь. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

– Отдышись, – еле слышно сказал Федот Евграфыч. – Тут где-то они. Близко где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться.

– Вон они, – сказал старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.

– Мимо пройдут, – не оглядываясь, продолжал Васков. – Здесь будь. Как я утицей крякну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули. И – об-

ратно замри. Поняла ли?

– Поняла, – сказала Женька.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк – наперерез. Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело – на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить – и крикнуть не дать. Чтоб – как в воду...

Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березнячке, в весенних, еще кружевных листьях. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож – только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их ша-

га, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади них прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено – тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так всё задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму. Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли сил у Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал до этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя – драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал покуда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоился, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдвинул ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец – даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.



Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

– Молодец, Комелькова... – в три приема сказал старшина. – Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и – не смог. Так и сидел на земле, словно ры-

ба, глотая воздух. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык, здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

– Ну вот, Женя, – тихо сказал Васков. – На двоих, значит, меньше их стало...

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала – маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал...

И нашел то, что искал, – в кармане у рослого, что только-только Богу душу отдал, хрипеть перестав, – кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «*Дорогому защитнику Родины*». Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.

– Уйдите... – сказала.

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.

– Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

– Брось, – сказал он. – Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не чело-веки, не звери даже – фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал шмайссеры, обоймы запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову – и раздумал. Шут с ними: прибыльток не велик, а ей все легче – меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре первые отряды должны были подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся,

пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их – что конопушек у рыжей девчоночки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

– Может, ополоснешься?

Помотала головой: нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздохнул старшина:

– наших сама найдешь или проводить?

– Найду.

– Ступай. И – к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?

– Нет.

– С опаской иди все же. Понимать должна.

– Понимаю.

– Ну, ступай. Не мешкайте там: переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, во-яки!

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами.

Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре – не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку

стояла, в платьишке с длинными рукавами и широким воротом; тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о героической смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом посплюнул ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый – рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета. Ярость его прошла, да и боль приутихла; только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уже инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера – сутки топать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло – в разные, правда, концы, – а барахлишко их осталось, и отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.